Обнимаю туман. Встречи с Кузьминским

Диана Федоровна Виньковецкая

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В шестидесятых-семидесятых годах Костя Кузьминский играл видную роль в неофициальном советском искусстве и внёс вклад в его спасение, составив в Америке восьмитомную антологию «Голубая лагуна». Кузьминский был одним из первых «издателей» Иосифа Бродского (62 г.), через его иностранные знакомства стихи «двинулись» на Запад.

- Диана Виньковецкая

Диана Виньковецкая
Обнимаю туман. Встречи с Кузьминским

В шестидесятых–семидесятых годах Костя Кузьминский был центральной фигурой ленинградского подполья, играл видную роль в неофициальном советском искусстве и внёс вклад в его спасение, составив в Америке восьмитомную антологию «Голубая лагуна», или «По ту сторону официальности.» В те годы молодое поколение жило в обострённом отношении ко всему советскому, стандартному, и любое проявление чего-то «оригинального» — открытие часто всему миру известных истин, изобретение давно изобретённого велосипеда воспринималось как что-то сверхъестественное, гипнотическое и обаятельное. Всё было за новость. И если поэт был против официальных стандартов, эстаблишмента, то почти автоматически ощущал себя правым и начинал считать себя гением. В Ленинграде появилось столько подпольных гениев–поэтов, что «распространилась эпидемия гениальности, микробы которой были занесены ещё Хармсом и Введенским» — шутил писатель Давид Дар.

(Многие гении выбрали для себя уже проверенный другими гениями жанр — поэзию.)

Впервые встретившись с «подпольными гениями», мои воображаемые представления о необыкновенным мире поэтов, художников, богемы были поколеблены. Вместо изысканных красивых эстетов, созданных в моём воображении литературой, я увидела зацикленных на себе личностей с манией величия, лохматых, шепелявых, полупьяных, и даже таких, которых нельзя было назвать в полном смысле здоровыми. Я описала свой первый визит в ленинградскую богему в эссе «Единицы времени». Конечно, в подпольной богеме было много самых различных индивидуумов, которых объединяла общая ненависть к советской власти, одному вездесущему врагу, и со временем каждый из них пошёл своим путём, тяжёлым и извилистым, в поисках себя, своей собственной реализации. Несмотря на смешные и нелепые проявления, подпольный авангард шестидесятых был уникальным явлением в истории русского искусства — у него несомненно есть немалые заслуги в том, что в России прервалась тираническая диктатура, и даже, как скажет Бродский в своей Нобелевской речи, «это поколение имеет заслуги перед мировой культурой». Преувеличение? В год произнесения этих слов, полагала, что

Иосиф несколько приукрасил своё поколение, но чем больше думаю об этом сейчас, тем больше убеждаюсь, что так оно и есть.

Имя Кузьминского, экстравагантного поэта, я слышала и знала по легендам и слухам, до знакомства с моим мужем Яковом Виньковецким — принадлежавшим к кругу художественной богемы — даже была на вечере в доме кино, где Кузьминский выступал в группе поэтов. В тот вечер Кузьминский прочитал один из милых своих стихов: «обними её плечи туман… обними, как я обнимал ".

Позже Кузьминский провозгласил в поэзии первичность звука и развивал теорию «звукового стихописания», это было новым экспериментальным и вдохновляющим. Он стал испытывать экстаз только от немыслимых словосочетаний, и просто «туман» его уже не устраивал и не вдохновлял. Забегая вперёд, скажу, что в его антологии «Голубая лагуна» этого стиха я не нашла, все места заняли строфы со внесмысловой ритмикой. Конечно, рифмы и ритмы затрагивают человеческие эмоции «дыр… быр… шир…», но где содержание? И одни звуки часто оборачиваются катастрофой для содержания.

Поэзию Кузьминский обожал. Встречали ли вы поэта, которому бы нравились стихи поэтов–приятелей? Кузьминский восхищался чужими стихами и читал их наизусть.

Вокруг Кузьминского был целый круг молодых поэтов, кого он считал своими учениками. Поэты попадали в орбиту Кузьминского не только из-за общего неприятия власти, но и за его поддержку их творческих начинаний, за то, что он вселял и лелеял в них надежду — не нарушал их мечты, а вдохновлял. Для Кузьминского «выращивание» поэтов было формой его литературной деятельности.

Кузьминский собирал и распространял стихи Бродского, Бобышева, Уфлянда, Охапкина и многих других. Это из его «собрания» стихи Бродского и Бобышева попали в фельетон «Окололитературный трутень», с которого началась травля Иосифа, но об этом будет чуть позже. Кузьминский был одним из первых «издателей», если можно так сказать, Иосифа Бродского, он собрал полного Бродского на декабрь 62 года и через свои иностранные знакомства, в частности, через американскую писательницу Сюзан Масси, с которой познакомился, когда работал экскурсоводом в Павловском дворце, стихи двинулись на Запад. Там появилась первая поэтическая антология подпольного авангарда. Сюзан Масси после этой публикации перестали пускать в Союз.

Круг интересов Кузьминского не ограничивался только поэзией, в своей «артистической норе» он устраивал поэтические

чтения, обсуждения и даже выставки подпольных художников с названиями «22», «Под парашютом», «Не в ногу».

В предыстории создания знаменитой выставки во Дворце культуры им. Газа в Ленинграде (декабрь 74) Кузьминский был одним из главных вдохновителей. Более сорока художников подпольного авангарда участвовало в выставке и почти все выставлявшиеся художники были друзьями или знакомыми Кузьминского.

На открытии этой выставки я мельком видела Кузьминского около картин моего мужа Якова Виньковецкого, художника–абстракциониста, но постеснялась подойти и познакомиться — ему было не до знакомств. Круг интересов Якова не ограничивался только научной геологической работой, он рисовал картины, писал философские статьи о теории живописи, об эволюции природы, и среди подпольной богемы пользовался большим авторитетом. Авторитет Якова был таким значительным, что учитель и наставник творческой молодёжи, господин Кузьминский сам приехал к нам на Гражданку, где мы тогда жили. Это был редкий случай, обычно все посещали его в «артистичной норе», вход в которую был под вывеской «парикмахерская». Первые буквы «парикма» исчезли (или их затёрли свободные художники), остались только последние буквы и, естественно, «артистическую нору» Кузьминского стали называть «под хером».

Открывается дверь, и вижу появившегося Кузьминского. Высокий, красивый, с бородой, одет в кожаные штаны, в шляпе, с декоративным крестом на груди и палкой. Декадент. Ты с порога знаешь, с кем имеешь дело, всё говорит об этом. Взглянул на меня плутовскими глазами. Я засмеялась, многие свободные художники меня смешили, ну как не посмеяться над их артистизмом, над их изысканным одурачиванием окружающих. Некоторые обижались на мой смех, другие снисходительно улыбались, думали — дурочка, Кузьминский же сразу догадался в чём дело. Снимок, сделанный в тот день, остановленное мгновенье нашей встречи, этот моментальный кадр отражает, как я и Кузьминский смотрим друг на друга. Его хитрый, прищуренный, игривый взгляд встречается с моим, ещё более хитрым и ироничным. Кто кого перехитрил? Эту фотографию Костя поместил в свою антологию «Голубая лагуна», кажется, единственную, где он «с бабой», («баб не будет» — было его желание), хотя я никакого отношения не имела ни к поэзии, ни к его эротическим интересам.

Чуть позже, тем же вечером, к нам домой пришёл театральный художник и режиссёр Игорь Димент, тоже хорошо

умеющий разыгрывать публику и не забывавший актёрства на людях. Он буквально через несколько дней (73 год) одним из первых наших друзей уезжал на Запад, и Кузьминский захотел с ним передать какие-то бумаги, стихи. Не помню в точности всю беседу, но помню, как меня рассмешила выдумка одного из них

- передать литературу. в лодке (!) на Обводном канале. Они довольно серьёзно ломали голову, придумывали как встретиться, где и как добыть лодку, кто из них будет ею управлять. Вслух засмеяться я не осмелилась — Яшу боялась, но про себя посмеялась над слегка абсурдным характером происходящего.

Мания величия у наших подпольных гениев соединялась с манией преследования. Они всё время думали о провокаторах, слежке, подглядывании, подслушивании. Многие чудовищно преувеличивали своё значение. Димент перед отъездом был в состоянии неполной вменяемости. И когда они с Кузьминским плавали в лодке, то, как потом рассказывал Костя, Димент не дал ему слова сказать, «это был единственный случай в моей жизни, когда меня переговорили». Хорошо, что они не утонули вместе со стихами, а то бы мир ничего не узнал о наших подпольных поэтах и только рыбы бы заглатывали их стихи, но они — немые.

Игоря Димента я описала в повести «Горб Аполлона».

После приезда в Америку мы встретили Кузьминского в Вашингтоне на конференции, посвящённой русской культуре (77 г). Этой встрече я посвятила целую главу в книге «Америка, Россия и я». Мы с Яковом и четырёхлетним Даничкой приехали В Вашингтон из университетского городка Блаксбурга в Вирджинии, где тогда жили и работали. Кузьминский прибыл из столицы штата Техас — города Остина, где ему предложили профессорскую позицию в университете на кафедре славистики. Хотя Костя не имел никакой учёной степени, но был всесторонне образован и владел английским языком в совершенстве. Кафедрой заведовал знакомый Кузьминского по Ленинграду профессор Сидней Монос, который и организовал это взаимоинтересное приглашение, и Кузьминские из Нью–Йорка переехали в Техас. На вашингтонскую конференцию Кузьминского доставили на большом траке–грузовике его поклонники. На этот раз одежда поэта представляла собой что-то среднее между одеждой трубадура и ковбоя.

На обширной Вашингтонской конференции, происходящей в одном из шикарных отелей столицы Америки, в разных залах проходили доклады, лекции, выступления, имеющие отношение к литературе и политике России. По случаю открытия конференции в Джорджтаунском университете был приём. На чтении стихов и лекции Кузьминского я не была, но прослушала его выступление

на банкете, где по очереди выступали с тостами важные представители культуры. Кузьминский, любивший залить за воротник и поискать истину в вине, когда ему предоставили слово, был хорошо «погружён в поиски истины», и найденная им истина вышла наружу. Он полил грязью всех присутствующих американских славистов — «Вы, профессора, по–русски говорить не умеете, у нас каждый фарцовщик, как лорд, выражается по–английски», потом перешёл на американскую публику — «Ваша, еб, Америка — сафари с «реднеками»…» За доллар переедите родную бабушку…» «А что пьёте …»

Закончить перечисление «найденных истин» Кузьминскому не удалось, мой муж Яков «сдержал» его, во весь голос прокричав с места чтобы он сел и успокоился. И Костя успокоился и сел.

Конференция сопровождалась ещё и выставками современного русского искусства в нескольких галереях города Вашингтона, разными «панелями», обсуждениями. Одно из главных обсуждений–совещаний русского художественного авангарда было организовано Нортоном Доджем, профессором Мэрилэндского университета, коллекционером русской живописи, основателем фонда «Кремона фаундейшен», и происходило в его поместье, в часе езды от Вашингтона. Нортон Додж предоставил свой сверхмиллионерский дом на океане, на целых два дня, для русской художественной шпаны, которая оккупировала, кажется, комнат пятьдесят в его доме. В большом зале дома должны были происходить обсуждения русского художественного авангарда. В первый день обсуждений я гуляла с Даничкой по поместью Нортона Доджа и не присутствовала на совещании, но на второй день мне удалось послушать, что происходит с русским авангардом, потому что Даничке было разрешено побыть на обсуждении. Приглашённые художники и искусствоведы собрались в центральном зале дома Нортона под сводами готического потолка, со стенами, увешанными старинными картинами, и говорили о целях, происхождении и назначении искусства.

Когда большая половина обсуждений прошла, принесли «на панель» выспавшегося Кузьминского, великолепно оценившего вина заводов Нортона Доджа. Поклонники положили Костю на ковёр, и он в течение дискуссии возлежал как Римский Патриций в окружении нашего Данички и Лорда Черняна, тоже приглашённой на совещание очень важной чёрной собаки профессора искусствоведа Джона Боулта. Шло длительное обсуждение: и про идеализм в эстетике, и про противоречие между чувством и разумом в восприятии искусства, и про форму и содержание у Гегеля, Юма, Канта. Красота и прекрасное. Как

понять, что хотел выразить художник? Сущность художества в настроении? Как понимать современную посткубистскую модерновую живопись? Можно ли понять красоту живописи Джексон Поллока?

«Всё очень просто понимать, — раздался голос лежащего Кузьминского, — «Стоит» у тебя на картину или «не стоит «- вот и всё понимание!»

Так Кузьминский закончил дискуссию о прекрасном.

Через год мы тоже оказались в Техасе, в Хьюстоне, недалеко от Кузьминских, когда стали работать в научно–исследовательском центре нефтяной фирмы «Эксон», где мой муж Яков получил предложение и почти сразу «устроил» и меня. В Остине, помимо Кузьминских, жил наш ленинградский друг Илья Левин, учившийся в аспирантуре на той же русской кафедре, где работал Костя, там же был Центр русской культуры, который возглавлял профессор искусствоведения Джон Боулт, собаке которого, Лорду Черняну, я разрешила ночевать в библиотеке Нортона Доджа. (С тех самых пор мы неизменные друзья с Джоном, хотя Лорд Чернян давно покинул этот мир.)

Мы часто навещали и этот Центр, и наших друзей. В университет приглашались разные деятели русской культуры — поэты, писатели, художники, режиссеры, устраивались симпозиумы, обсуждения, выставки. В то время в Америке ещё теплился интерес ко всему русскому и американское правительство вкладывало деньги в этот «интерес», начавшийся с запуска советского спутника и закончившийся с концом перестройки, «хвост» этого интереса мы ещё застали.

Кузьминский читал лекции, устраивал диспуты, был ни на кого не похожим профессором с эксцентричными повадками, и отдельные студенты просто носили его на руках, в переносном и буквальном смысле слова, как на конференции в Вашингтоне. Жаль, что эти уносы и приносы нельзя больше увидеть живьём, а на фотографиях почему- то их никто не зафиксировал.

Хьюстонской публике было любопытно посмотреть на легенду русского авангарда, пообщаться, послушать модернистские стихи, и мы устроили в нашем доме что-то вроде поэтического вечера Кузьминского, пригласив желающих. «Легенда» — поэт Константин Кузьминский появился, естественно, не без экстравагантности: в длинном расшитом балахоне, с посохом в одной руке и какой-то громадной амбарной книгой в другой, якобы там рукописи стихов, в ковбойской шляпе с полями по полметра. Его вид не обманул надежды слушателей увидеть нечто оригинальное.

Даже в Америке, где трудно кого-то поразить, Кузьминский

всё равно мог ошарашить публику каким-нибудь балдахином, бахромой, торбой, чёрной повязкой на глазу, борзыми собаками, толпой поклонников, и американский прохожий невольно останавливал на нем взгляд. Видела, как машина, проезжавшая мимо Кости, замедлила движение и даже попятилась назад, шофер и пассажиры повернули шеи на все возможные градусы, озираясь на идущего по улице Кузьминского. Газета «Нью–Йорк Таймс» сравнила нашего поэта Кузьминского с американским поэтом — «битником» Алексом Гинзбургом, который тоже бросает вызов истэблишменту и считает себя «мост брильянт мен ин Америка».

И вот поэт Кузьминский начал читать стихи с энергией и неистощимым энтузиазмом. Стихийные ритмы летают по нашему дому. Мы с Яковом принялись наливать и смешивать напитки на прилавке, который отделял нас от Кости. Заметив, что среди слушателей происходит шевеление и что некоторые дамы покидают свои места, я подумала — от переполнявших эмоций. Что оказалось правдой. Находясь за спиной Кости, мы не могли видеть, как во время чтения он проводил некоторые манипуляции: невзначай поднимал полы своего балахона, ставил ногу на приступочку (как быстро он её нашёл и приспособил) и обнажал свои мужские достоинства. Через секунду, как ни в чем не бывало, он опускал задравшуюся полу. Но. в порыве ритмического ударения, как бы помимо его воли, пола балахона опять поднималась. И так несколько раз — для соответствия лица и поступков. В момент, когда Яков присоединился к публике, Костя с бесовской хитрецой взглянул в Яшину сторону и прекратил свои оголения.

Кузьминский прокламировал, что без обнажения не может быть творчества, что эксгибиционизм лежит в основе всякого подлинного искусства и без него нельзя быть настоящим художником. Можно показываться голым, эпатировать, юродствовать, но при этом совсем не обнажать своего внутреннего трагизма, своего поражения, своей души, как это делают герои Достоевского. Внутреннюю дисгармонию, отчаянность, загнанность, «первичную ткань жизни» в творчестве обнажить не так-то просто, проще — боль заливать водкой, что и делали многие из окружения Кузьминского и он тоже. Таким образом противостояли реальности, одиночеству. Желание выпить возрастало прямо пропорционально чувству одиночества. «Пили от осознания свой биологической ограниченности в сравнении с беспредельностью умозрительного потенциала», так считал Яков, а его друг поэт Глеб Горбовский «пил, потому что кругом пустота».

Джон Боулт, Директор Русского Центра Техасского университета, англичанин и искусствовед, большой поклонник Кости, решил отметить сорокалетие Кузьминского по высшему классу, сделать шикарное развлечение для публики. На празднование было приглашено более ста гостей, профессоров, аспирантов, художников, искусствоведов, людей, занимающихся и интересующихся русской культурой. Нас позвали вместе с нашими детьми. На громадном озере около Остина, образовавшемся в глубоком разломе, окружённом невысокими горами — «балкони» — (мои последние остатки геоморфологических познаний) Джон Боулт зафрахтовал пароход размером с нашу «Аврору», назвав его «Константин Кузьминский.» Студенты украсили пароход небольшими флагами с эмблемой ККК (Константин Константинович Кузьминский). Некоторые жители Остина, думая, что это прославление «Ку–Клукс–Клана» приходили в недоуменье. По задумке Джона Боулта, все участники праздника должны были собраться на пароходе и ждать появление юбиляра, для которого это празднование готовилось как сюрприз. Когда вся толпа приглашённых была в сборе и наш сын Даничка уже сидел на корме, его величество Константин Константинович Кузьминский, в окружении свиты и двора, пожаловал к кораблю. Голова юбиляра была украшена золотой короной, в одной руке посох, в другой герб морей. Он размеренно подходит к борту, останавливается, читает название парохода, снисходительно улыбается (ничего, дескать, удивительного, вроде как так и надо). Поднимаемся по траппу. Раздаются фанфары. В небо взлетают несколько ракет. Фейерверк Кузьминскому. Морской Царь усаживается на троне, установленном на палубе и обвитом сетями с морскими водорослями. Пароход отчаливает. И тут над озером появляется самолёт с развивающимся плакатом с надписью по–русски: «Сорок лет ККК — это не хуй собачий». Самолёт делает круги вокруг корабля, свита и все приглашённые радостно кричат, читая приветствие. Но не все понимают самолётное «поздравление «и просят нашего шестилетнего Даничку перевести. «День рождения Кости это — не день рождения собаки», — улыбаясь, переводит Даничка. В рупор на всё озеро летят поздравления, тосты за процветание Константина, русской культуры, поэзии, Джона Боулта… Наш царственный Нептун принимает поздравления вместе с водочкой, и через какое-то время путешествия по воде он так всего напринимался, что потерял и корону, и величие. После причаливания корабля его величество прямо на троне до машины доставляют четверо молодых любителей поэзии.

Даничка, наш младший сын, был любимцем Кости и его жены Эммы, и когда мы приезжали в Остин, они всегда просили оставлять его ночевать у них, что мы с радостью и делали. Даничка обожал и Костю и Эмму, и их собак. У них были две изящные русские борзые, одну, по имени Нега, они привезли из России, а вторая, кажется, была её американской дочерью. Эти собаки были неотъемлемой частью Костиного представления, он с ними важно прогуливался, как Сальвадор Дали с муравьедом. Даничке Костя разрешал всё: бегать с собаками, кричать, изображать индейцев, прыгать на тахте, где Костя возлежал, и даже скакать на его брюхе. Даничка быстро понял, что с Костей можно делать то, чего нельзя с другими. Было забавно смотреть, как они, играя, взаимно наслаждались. В играх с Даничкой проявлялась природная Костина доброта, которую он прятал под балдахинами, бурками, ёрничаньем. Несколько стишков Костя посвятил Даничке. В одном из стишков Костя предостерегает Даничку — «не быть банкиром», там есть замечательные строчки: ". банкиры правят миром, в котором не живут». В другом есть редкая рифма: Илья — лия. «Его весёлый брат Илья сидел в углу слезу лия… о том, что смертен каждый пень, что впереди чернеет день.» Наш старший сын Илья был страдалец- философ, полная противоположность весёлому Даничке.

У Костиной жены Эммы не было своих детей помимо Кости, её единственного ребёнка, но и к нашему Даничке она относилась по–матерински. Для Кости Эмма была всем: женой, матерью, нянькой, сиделкой, секретарём. и даже меценатом — он говорил, что «Голубая лагуна «издаётся на заработанные Эммой деньги. Костя был для Эммы смыслом её жизни, её кумиром. Вся её жизнь — служение «Коко», так ласково она его называла. Она была и есть предана Косте до полного самозабвения, какого я в своей жизни почти не встречала у наших жён. Конечно, в самозабвении и растворении одного в другом есть и отрицательная сторона для партнёра, который перестаёт чувствовать реальность, думая, что всё, что он делает, самое лучшее в мире, однако всё равно как-то жаль, что не хватает таких преданных людей. Верность или любовь как бескорыстное чувство не встретишь на каждом шагу — это такая же редкость, как новая рифма.

Несмотря на весь эпатаж, («моя пятая жена», «одна из моих жён», «когда Яшка умрёт, то возьму тебя (это меня) в свой гарем»), думаю, что Кузьминского женщины не особенно волновали, и не думаю, что он кого-то из женщин любил, — как и многие мужчины (прошу прощения, не все) — он не находил человека в своих любовях. Невысоко ценил он и женскую поэзию, составил смешную книжечку, куда собрал отрывки стихов поэтесс

«Ах, зачем я это сделала?» с посвящением Марине Цветаевой и Анне Ахматовой. Приложил список одежды из строчек стихов Ахматовой «Во что одевалась Анна Ахматова». А как Кузьминский не любит женских мемуаров, дамскую поэзию, сколько он написал уничтожающих пародий «А я была в голубом...»!

Больше всего Кузьминский любил поэзию и себя в ней. Он любил этих бездомных, полуголодных, скитальцев, этих гениев и только их. Он любил их за то, что они нарушали заведённый порядок, переходили границы общепринятого, не были соц–реалистами, озорничали. Он любил, потому что сам был их частью. Они начинали на опустошённом месте, хотели внести нечто новое, и Кузьминский хотел быть и был их вдохновителем, учителем, наставником, называл многих из них своими учениками, и правда — многие ему обязаны «вскармливанием», поддержкой, напутствием, участием. И я тоже. Он первый похвалил мою первую книжечку «Илюшины разговоры», позже на мою «Америку» прислал милый отзыв, но обиделся, что я восхищаюсь только Бродским «я мало–мало тоже поэт». Иронизировал: «твои друзья Вротский, Ёбышев, Ублюда, Штервь.» Он мог свой лингвистический талант (как говорится, ради красного словца) растратить на просто так — на звук. Часто его строки состоят из звуков, полностью лишённых значения. Если он находил какое-нибудь оригинальное словосочетание, не банальное, какие-то окрыляющие фразы, то лишь ради звучания, не из-за взглядов или идей, мог пожертвовать любовями, отношениями, друзьями, доброжелателями.

Как-то Костя привёз Якову свой очерк для какого-то журнала, может быть, для парижского «Эха», о Бродском и Бобышеве — как он «издавал» их поэзию, как перепутались их стихи и перепутанными попали и в КГБ, и в газетный фельетон «Окололитературный трутень». И ещё о том, как переплелись личные судьбы поэтов: такой классический треугольник — как мужчины окружают восторженным обожанием одну какую-то женщину, поддаваясь общему соблазну. Свой очерк Кузьминский озаглавил «Друзья по перу и по трипперу». В его словах и статьях нередко звучал издевательский подтекст, и в этом очерке не обошлось без язвительности. Яков довольно жёстко убедил его снять заглавие, не уподобляться разным клеветникам и сплетникам, публика должна читать стихи — в них и есть частная жизнь поэтов, — а не сплетни, многие из которых совершенно не нужно знать читателям. Сексуальная жизнь поэтов заслуживает гораздо меньше пристального внимания, чем ей уделяют. «Яшка нравоучительный и мудрый».

Внутри Кости было сочетание разных качеств, равновесия в

его экстравагантной натуре не было, и в пьяном состоянии, или прикидываясь пьяным, он мог наговорить разные гадости, «правду–матку», как иногда говорят. Как-то раз у Ильи Левина собрались отметить встречу и выступление в университете известного писателя Юза Алешковского, прославившегося своей повестью «Николай Николаевич». Выпивали, беседовали. Юз много шутил, острил, метафизически матерился, и им все восхищались. Кузьминский лёг на диван и, притворясь пьяным, поочерёдно полуоткрывал то один глаз, то другой. Он выжидал подходящий момент — метил в Юза Алешковского. Выждав, когда Юз сказал: «поэт напился», Кузьминский сразу же громко пробормотал: «Твой «Николай Николаевич» — стоЯщий, всё остальное — хуйня», и одним прищуренным глазом обвёл всех присутствующих. Юз не нашёлся, что ответить, и не полюбил Кузьминского. И не только он. Своей откровенной прямотой Кузьминский быстро наживал врагов. Тот самый случай, когда правда в ущерб тактичности.

Большое негодование нашей эмигрантской публики вызвал фильм «Бывшие», показанный по американскому телевидению и на широких экранах с участием Кузьминского. После показа фильма у нас раздавались звонки: «Яков, твоего Кузьминского нужно убить!» «Ваш Кузьминский со своими грязными собаками позорит русских на всю Америку.» «Вчера ваш Кузьминский в фильме валялся пьяный.» Возмущённые эмигранты создали какой-то комитет и подали в суд на режиссёра фильма Джессику Савич за клеветнические измышления. Джессика Савич погибла в автомобильной катастрофе, суд не состоялся, но про Кузьминского стало ходить мнение, что он позорит нашу эмиграцию, что нельзя серьёзно к нему относиться — репутация его была подмочена, и он уже не мог быть первым парнем на нашей эмигрантской деревеньке. Не одобряя Костиного ёрничанья и злословия, Яков защищал его от нападок эмигрантской публики, говорил, что к личности Кузьминского не нужно подходить с обычными мерками, старался открыть лучшее, что было в Косте — яркость, неповторимость, исключительность его личности, подчёркивая, — что всегда можно найти основания не любить.

Хотя мы приехали в свободную страну, но внешнее «освобождение — только путь к достижению внутренней свободы, которую нужно «освобождать в себе», как мне советовал Яков, а «не искать где-то виноватого в своих поражениях». Но мы ещё долго мыслим так, как привыкли в тоталитарной системе.

В России Кузьминский создавал своё потустороннее пространство, живя в котором, выпадал из социального строя и

вызывал восхищение у многих огорчённых советской властью людей. В Америке же его «выпадения» из социума перестали встречать такое бурное восхищение.

Не помню, чья была идея, кажется, Джона Боулта как директора Фонда Русской культуры, посетить американскую тюрьму и рассказать заключённым о русской культуре. Костя с радостью принял это предложение, надеясь, — может, в американской тюрьме, в потусторонней жизни, у выпавших из социума он найдёт понимание и сочувствие. Джон Боулт, Кузьминский и Яков отправились в Техасскую тюрьму города Далласа пронять американских заключённых русским авангардом. Кузьминский вырядился суперковбоем, просто Джон Вейн из Вестернов — кожаные штаны с блямбами, замшевая куртка с разными прибамбасами, шляпа с громадными полями, сапоги с отворотами. подвешенная кобура. С заключёнными он говорил на американском сленге, с американизмами «уё–моё», его английский звучал так, будто он родился в техасских прериях.

Не знаю, как и что думали американские тюремные резиденты про русский авангард, предполагаю, что они понятия не имели, где такая страна Россия, уж не говоря о поэзии, нонконформизме. Но Кузьминский был от тюрьмы в восторге. В заключение своей речи он сказал, что при таком избытке времени, на таком довольствии как у них, на таких харчах — на столах масло, повидло, хлеб, без КГБ, без советской власти — на таком приволье можно столько написать стихов, столько нарисовать картин. что он просто- напросто им завидует. «А мои.» и, вспоминая своих бедных, бездомных, голодных российских поэтов и художников Эрля, Ширали, Охапкина. подпустил слезу. «Они совсем не похожи на ваших американских художественных дельцов, им вечно нечего есть, спать. нет угла, где можно с девушкой «перепихнуться». В России снег, холодно, там не Техас. «Устроил мастерский эмоциональный спектакль.

Яков рассказывал, что заключённые сначала смотрели на Кузьминского с удивлением, как будто увидели инопланетянина, но потом они чутьём поняли, что он им сродни, и к концу тюремного приёма обращались с ним по–свойски : хлопали по плечу, пожимали руку, показывали свои татуировки, один преподнёс яблоко, другой свой рисунок… Можно сказать, приглашали с ними пожить. На следующий день в «Далласовской правде» была заметка «Русское искусство в американской тюрьме» — о том, как расцветает дружба между народами, как в исправительном заведении идёт воспитание заключённых стихами и картинами. И вот уже половина уголовников собирается стать поэтами, другая — художниками.

Может быть, совсем неплохо «воспитывать» людей искусством, если «человека просветить, то тут же он перестанет делать пакости», (?) как хотел Бродский своим «нескромным предложением» — разложить томики стихов рядом с Библией во всех отелях и супермаркетах.

Пусть себе и лежат.

В Америке Кузьминский хочет сохранить для истории осколки и фрагменты жизни своих современников, их стихи, произведения, лица. И если он был вынужден покинуть родную страну, то не своё художественное движение, не своих любимых поэтов, художников, судьбы которых его волновали. И Кузьминский начинает собирать и готовить антологию «Голубая лагуна», куда помещает немыслимое количество материалов подпольного авангарда. Какую-то часть материалов ему помогли вывезти иностранцы и уезжающие, что-то у него было при себе, однако чтобы как можно шире представить свой подпольный авангард, он собирает материалы по всему миру, списывается с разными людьми, прося подборки стихов, архивы, фотографии, воспоминания. Всё поступившее сшивает своей иглой.

Яков предоставил Кузьминскому часть нашего архива (так что даже я попала в Антологию на фотографиях) и один стишок Якова.

На издание «Голубой лагуны» было не достаточно денег, чтобы убедительно и красиво представить все материалы, поэтому много текстов плохо отпечатано, не отредактировано, фотографии мутные, расплывчатые.

Эти толстые собрания–тома, их восемь, представляют скорее антропологический интерес, чем литературно–художественный, — как поэты и писатели интуитивно противодействовали искусственному разрыву традиции и поддерживали культуру. Кое- что из текстов мне понравилось, но я не буду анализировать тексты «Антологии», я не пишу рецензию, только скажу, что «Голубая лагуна «отражает вкус и щедрость составителя в оценке поэтов. Для Кости от каждого поэта требовалось единственное — неподпевание советской системе, отсюда вытекал и не особенно большой эстетизм и публикация посредственных стихов. Поддержка стихов своих современников, а иной раз и восхищение Кузьминским и изголодавшейся публикой, как писалось, вызывала повышенные самооценки авторов: многие из свободных художников считали, что они сложнее и богаче своей аудитории, что они выражают нечто, недоступное простому смертному, — и такое эгоцентричное ощущение себя, думается, являлось и является корнем многих их бед. Официальных они презирали и оскорбляли, хотя, безусловно, все хотели печататься и

выставляться, честолюбие свойственно почти каждому. Они растрачивали себя неизвестно на что, чаще всего чтобы произвести впечатление, напоказ, даже перед самими собою, многие из них растворяли свой талант в водке. и уродовали свои поэтические судьбы.

В России у Кузьминского была несовместимость с окружающей средой, но и в Америке он сразу стал «выпадать» из социума. Будто не знал, что любое общество всегда противостоит отдельному индивидууму, что нет идеального строя, что любая система, созданная человеком, несовершенна. И в Америке он опять уходит от всего происходящего в забытьё, в запой. ссорится с людьми, его любившими, расстаётся с Джоном Боултом, Сидней Моносом, Ильёй Левиным. С нами тоже был готов рассориться, но не успел, уехал в Нью–Йорк, и мы всё-таки жили подальше от Остина.

Вот так «по пьянке» потерял профессорское место, любовь и поддержку многих своих друзей и поклонников. Оттолкнул от себя многих доброжелателей. По пьянке не один из наших свободных художников, жертв эпидемии гениальности, растворился в обыденном, забылся в пространстве, растерялся в жизни. Свою оригинальность, свою духовную стоимость алкоголем они понижали и капитулировали. И можно только сожалеть о пропитых и растраченных талантах.

И теперь — последний фрагмент — о моём посещении Кузьминского через много лет в его поселении в Катскильских горах. После смерти Якова (84г) я переехала в Бостон, предложение Кости — взять меня в свой гарем, он, видимо, забыл, и я приняла другое — вышла замуж за физика Леонида Перловского. Пару раз мы навестили Костю где-то в подвале Бруклина, при скоплении народа и невозможности разговора, и только изредка обмениваемся письмами и «е–мелями».

В один из приездов на дачу к нашим друзьям в Катскильские горы мы решили навестить Кузьминских. Дорога огибала подножия холмов, шла по долинам, заполненным озёрами, иногда горы подступали прямо к дороге, обнажая свои гранитные внутренности. Посёлков не попадалось, и казалось, что мы попали в первозданный докембрийский пейзаж. Из-за изгибов и поворотов ехали довольно долго, пока не показалась большая река с мостом и вдоль её берегов жилищные строения.

Наш спутниковый руководитель произнес: тут останавливайтесь! Но мы не могли поверить, что полуразвалившийся ветхий сарай с гуляющими вокруг курами и роскошным петухом и есть дом нашего поэта. Не остановившись, проехали дальше через мост, оказались рядом с нарядным домом.

Стоящий около дома человек произнёс : «Вы ошиблись. поэты живут там, на другом берегу». Незнакомец показал нам пропорцию между заработками финансистов и поэтов. Мы вернулись обратно к одряхлевшему сараю, около которого нас встретила Эмма.

Поднялись по деревянной подвесной лестнице по ступеньками, шатавшимся и скрипящим, на высоту второго этажа, «первый» был без окон и дверей, как потом я увидела, первого и не было — дом стоял на сваях над ручьём. Вошли в громадную полутёмную комнату, всю заставленную и заваленную африканскими безделушками, сфинксами, деревянными фаллическими скульптурами, чудовищами с головами, клыками, копьями, ружьями. и бредовыми масками. Маски везде: на стенах, подставках, окнах, карнизах, перекладинах. почерневшие, пыльные. Смотреть на них мне не доставляет особого удовольствия — они как-то будоражат, видимо, потому, что устремляются во внутрь тебя, говорят тебе о тебе — посмотри какой ты ужасный.

У Кости всегда была привязанность к экзотическим вещам — кафтанам, черепам, минотаврам, маскам, монстрам, фаллосам. и сейчас они заполонили всё пространство, а отдельные, воздушные шары с хвостами, как химеры, висели на потолке. Любя исключения из правил, он, видно, находит красоту в уродстве. Проходя среди этого наваленного, как на аукционе, антика, я что-то задела своей сумкой, и вдруг чёрная фигура, лежащая около прохода, зашевелилась, я вздрогнула, в долю секунды увидела — эта фигура вытянулась и превратилась в живую чёрную кошку. Я отошла, оглянулась. И невозможно сказать, вижу или кажется : то там, то тут предметы, фигуры, маски стали двигаться, оживать. и вот- вот вся комната наполняется живыми приведениями.

Картина была мистическая.

«У нас девять кошек», — сказала Эмма.

Среди всей этой экзотики в дальнем углу было ложе. На нём возлежал наш герой. Эмма подняла его к гостям.

Костя изменился до неузнаваемости с того дня, когда был «не день рождения собаки», по выражению нашего сына Даничка. Смотрит по–другому. Исчезла бесовская хитреца во взгляде. Глаза стали водянисто–серыми и в них уже нет хмельной насмешки. Исхудал. Как-то упростился, прошла жгучесть актёрства. Уже не дурачит окружающих.

Однако от Кости остались не только одни кости, но и та его часть, которая уважает просто то, что человек пишет стихи, рисует картины, творит. И он остается самим собой и не поддаётся общему соблазну. Он не лицемерен. Был хулиган,

всегда в оппозиции к моде, пошлости и остался — себе не изменяет.

Как я уже писала, с порога знаешь с кем имеешь дело, всё говорит об этом. Приходится только удивляться, как другие, такие торжественно-учтивые поэты и писатели, от которых совсем не ждёшь пакостей, фальшивых заявлений, сводят счёты с теми, кто не может им ответить, «достают» из себя такое, что в сравнении с ними шутки и насмешки Кузьминского уже не кажутся такими едкими.

Стол, за который мы сели, примыкал к кухне, и чтобы не отвлекаться на «потусторонний мир», я повернулась спиной к оживающим маскам. За чаем беседовали. Костя показал несколько роскошных альбомов, которые он собрал, издал, написал к ним рецензии. Альбом художника Василия Ситникова, альбом пейзажей, фотографий. «Яшке хорошо бы такой альбом издать», — говорит Костя. «Нет таких средств», — отвечаю я. «Он всем помогал, всех жалел и задохнулся.» — проговорил Костя. Я замолчала.

Не удержался. и «прошёлся» по Иосифу, что-то об «организации» себе премии — это предсказуемая реакция некоторых людей, к сожалению, близких к кругу Иосифа.

Теперь Кузьминского отделяло от Бродского большое расстояние, и хотя он не мог не ценить поэзию Иосифа, хорошо разбираясь в поэтическом мастерстве, но Костю всегда раздражали поэты, успевшие приобрести известное положение. Успех и признание Иосифа, хотя Кузьминский в давние времена сам способствовал этому, теперь ему казались «слишком ". Вместе со славой, как известно, появляется зависть и неприязнь, и знаменитый становиться мишенью, в которую летят камушки и камни.

«Волшебный хор» поэтов, своих ровесников, друживших с Ахматовой, друзей- соперников — Бродского, Бобышева, Рейна и Наймана — Кузьминский уже давно прозвал «ахмадули», «ахматовские сироты», иронизировал и сочинял пародии: «Ах, люли, люли, люли… агу, агу, агу. четыре ахмадули плясали на лугу. И Анна Андреевна вытирает им сопельки».

Внизу под домом Кузьминских был небольшой, но шумный водопад на ручье, впадающем, метрах в тридцати от дома, в ту самую реку Делавэр, через которую мы проскочили, разделяющую Нью–Йорк и Пенсильванию. Кузьминские живут в штате Нью-Йорк, а там, за рекой, наши давние друзья — писатель Игорь Ефимов с женой журналисткой Мариной Рачко, юношеские стихи которой Кузьминский поместил в свою «Лагуну». «Ах, зачем я инженер–институтка, лучше было бы мне быть проституткой.»

Всех разбросало за реки и океаны. И все живём не там.

В какой-то сильный дождь этот домашний ручей Кузьминских, не знаю его настоящего имени, переполнился водой до краёв, напившись, вышел из берегов, потерял курс и ринулся прямо на их дом. В результате — причинил хозяевам неприятности — разлил воду в их архивы, стихи, картины, рукописи, фотографии. Потом всю эту размытую массу понёс в реку, которая была близко, река подхватила эти художественные ценности и понесла туда, куда уносятся все дела людей.

Уезжая обратно в Бостон, оставляя Костю и своё время, я испытывала грусть. В отъездах, прощаниях, расставаниях есть что-то грустное, законченное, всегда немножко похороны.

Дорога почему-то была пустая, ни одной машины, ни одной души. Вспоминалось прошлое. Ехали вдоль долины неизвестной реки, окружённой горами, вершины которых были в тумане. По ходу нашего перемещения, как бы горизонтального — с юга на север — туман двигался вертикально — сверху вниз, и чем дальше мы продвигались, тем ниже он опускался и вдруг появился около нашей машины и обнял её.

«Обними мои плечи, туман...» пришли в голову строки из ранних стихов Кузьминского. И вездесущий туман обнял и мои плечи, и меня, и моё время, и затуманил всё. Сквозь его пелену вдоль дороги виделись только расплывчатые огоньки, неизвестно кем зажжённые, словно в пучине смутной памяти светлые пятнышки, оставляемые яркими людьми.

Внезапно всё рассеялось — мы выехали на освещённый фривей — скоростную дорогу Олбани–Бостон.